

**Дмитрий
КОРЖОВ**

г. Мурманск

Человек

ЗЕМЛИ

В октябре 2019-го поэту-мурманчанину Николаю Колычеву исполнилось бы 60 лет...

Я хорошо, до деталей, до боли в сердце, помню последнюю нашу встречу без свидетелей, без публики, один на один. Она получилась короткая, но памятная. Я шел из дома к остановке и издали заметил Колычева. Людей там больше не было. Он стоял один. Курил. Картинка эта отчетливо в памяти. Ветер. Сухой ноябрьский снег. И одинокий поэт на этом мурманском ветре всепроникающем, безжалостном. Живой символ неуюта и бездомья.

Я подошел с полуулыбкой радостной, хоть и чуть ироничной, сказал:

– Как же хорошо прийти утром на свою остановку и там встретить большого русского поэта!

Коля хмыкнул, засмеялся как-то горько, беззащитно и вместе с тем радостно: мол, знаю, что льстишь, но все равно приятно. Не без кокетства заметил: «Брось!» Последнее касалось, пожалуй, одновременно и комплимента, и того, как он прозвучал, иронии, которую Николай, конечно, почувствовал. Он, как настоящий поэт, был человеком чутким и ранимым. И цену, цену себе знал, ой, знал.

«Ещё стакан! За всё, что я люблю!»

Отношения у нас были напряженные. Несколько раз ругались вдрызг – так, что обоим после этого было стыдно. Один раз едва не подрались. Что делать, человек он был нелегкий, да и я – не подарок. С другой стороны, назовите мне хотя бы одного поэта, с которым бывало легко. А уж когда поэт большой...

И в творчестве, и в каких-то мелочах, житейских проявлениях он, кажется, до самой старости оставался ребенком. Беспечным, неожиданным, парадоксальным, подчас капризным и при этом не переставшим радоваться жизни, каждому ее дню, ее будням и праздникам. Но не только радоваться, конечно.

Помню его совсем еще молодым, тридцатилетним – громким, спокойным, многопьющим, мяущимся в разные стороны в какой-то невыразимой тоске и печали. Мы познакомились в 1993-м, когда бригада писателей-мурманчан под водительством легендарного Виталия Маслова (именитый прозаик, один из тех, кто возродил в 1986 году в Мурманске День славянской письменности и культуры, привез в

город подарок болгар – памятник Кириллу и Мефодию) отправилась на Дни саамского и коми языка в Ловозеро и Ревду. Но открытие Колычева-поэта произошло позже, когда прочитал «Звонаря зрачок» – как мне представляется, по сию пору лучшую его книгу. «Звонарь», «Ветер, ветер...», «В небе серо, в небе грустно...»

А вот это:

*Невмоготу – себя перетерпеть!
Вновь душу грустью осыпает осень,
И так охота все дела забросить,
И пить, и плакать, снова пить и петь...
О, птичий крик, упавший свысока!
О, тишина, готовая взорваться!
Огромная, крылатая тоска...
Нет, на нее нельзя не отозваться.
Нехитрый стол, в стакане – самогон,
Вонючий и на цвет – какой-то синий.
Давно в деревне нету магазина,
Но не прижился здесь сухой закон.
Уж близок вечер. И столбы дымов
Спешат тепло живое обозначить,
И сразу видно, где – дома, где – дачи...
И дач – намного больше, чем домов.
Как горько мне!
Как страшно понимать,
Что летом жизнь кипела понарошку!
Вот вывезут последнюю картошку,
И грянет смерть по имени Зима.
Придут ко мне бездомные коты,
Придут ко мне бездомные собаки...
Темнеет. В небе – тусклый свет звезды
И горький свет – в лесхозовском бараке.
Еще стакан! За все, что я люблю!
И долго на луну глядеть, вздыхая...
Я пью не потому, что жизнь плохая,
А просто – осень. Потому и пью.*

«Звонаря зрачок» – книга для Колычева межевая, во многом определяющая. Стихи, что в нее вошли, четко указывали на то, что в России появился еще один большой поэт. По сути, получился не сборник, а – прорыв. Прорыв в некое разреженное пространство над облаками, где каждый житель – наперечет, куда попадают лишь избранные. Прорыв в небо. А подготовил его, взлелеял, выпестовал – разумеется, вместе с поэтом Виктором Тимофеевым – все тот же Маслов, который и составлял, и редактировал эту книгу, а позже и издал под флагом Всероссийского фонда культуры.

Книжка была издана внешне простенько (на газетной бумаге, единственный рисунок – на обложке), но вместе с тем со вкусом. По-северному сдержанным.

Так вот, сверяясь с текстом именно по этой книге, читал стихотворение «Невмоготу себя перетерпеть...» Виталий Маслов (взаимоотношения Маслова и Колычева всегда напоминали взаимоотношения отца и сына, отношения безусловной взаимной любви и требовательности. Так только очень родные люди друг к другу относятся. Нет, в сущности, Маслов для всех нас, в разной степени молодых в ту пору поэтов, был отцом. Но для Колычева – в первую очередь. Почему? Наверное, от того, что Николай больше всех в этом нуждался. Из-за неустроенности его всегдашней, крошечного колычевского безденежья и бездомья. И – от любви. Виталий Семенович очень Колю любил, может быть, больше, чем кого-либо из нас. В том числе и потому, что звучит в его стихах редкий для современной отечественной поэзии мир – мир русской деревни. Все, о чем пишет Колычев, известно Маслову изнутри. Они словно соседи по деревне. Оттого и сближение их, и масловская любовь к колычевским стихам были неминуемы).

Мы с ним выступали тогда в одном из мурманских лицеев... И хоть вроде бы не совсем годилось оно для школьной аудитории, а прочитал его Виталий Семенович. Знал, что делал.

Стихи замечательные. Тогда, когда впервые их услышал, они поразили удивительной чистотой и целомудрием. И это при том, что лирический герой там, если отвлечься от поэзии и перевести стихи на язык рядового обывателя, не слишком правильный. Как же – пьет! Да еще самогон. Да стаканами! Мрак, и только... В нынешней терминологии – абсолютные «18+».

Однако колычевский самогон – «вонючий и на цвет какой-то синий», здесь лишь деталь. Важная, конечно, но деталь. Которая, замечу, не мешает, а помогает автору в разговоре с читателем, помогает его голосу звучать исключительно чисто и светло.

О чем эти стихи? Сразу, навскидку, и не скажешь.

О деревне? Опять же, о том, как мужик пьет-тоскует о ней, родимой? Конечно, но и еще о чем-то, почти невыразимом словами... О Родине и любви к ней? О том, что плохо ей, такой большой и неладной?

Да, и о том, и о том, и об этом. Но и, как ни странно, о поэте и поэзии. О горюне-пьянице, у которого и тоска – крылата... И не такой уж он, к слову, и пьяница (как у Есенина, помните, «не такой уж горький я пропойца»), ежели приглядеться повнимательней. Лирический герой тут – единственный житель деревни, которую с таким мастерством и любовью описывает Колычев. Она явлена несколькими штрихами, но видна отчетливо, в деталях: и стол, и самогон, и столбы дымов, что обозначают редкие островки жизни в умирающем крестьянском мире, где

«дач намного больше, чем домов». Лирический герой – часть этого мира, безусловная, неотделимая. И в этом они очень близки с автором стихотворения.

Колычев – абсолютный крестьянин. Человек земли. Жить на своей земле – от нее и ради нее – для этого русского поэта естественно, нормально. От земли в нем лучшее – сила, мудрость, умение противостоять любой беде. В этом я лишний раз убедился в поселке Белое Море. В этом поселке у Коли был свой (отцовский!) дом и хозяйство: ухоженный, стебелек к стебельку, огород, баня, которую он потихоньку достраивает, теплица, что скоро примет первых своих обитателей. В общем, жизнь! Не в пример городской...

Однако герой «Невмоготу себя перетерпеть...» не просто и не только соприроден миру, который описывает поэт, он здесь – единственный, кто может противостоять смерти. И не только той, временной, сезонной, что известна нам и автору под именем Зима. Герой стихотворения, на мой взгляд, явление надмирное, почти мифическое.

Он порой, несмотря на всю свою внешнюю простоту, смахивает на какого-то всемогущего и всеведущего аса из скандинавского эпоса. Но, конечно, гораздо теплее, человечнее. Эпическая интонация врывается в стих внезапно, прорастая сквозь бытописание, сквозь обыденность, и на этом невиданном контрасте особенно потрясает и трогает:

*Как горько мне!
Как страшно понимать,
Что летом жизнь кипела понарошку!
Вот вывезут последнюю картошку,
И грянет смерть по имени Зима.
Придут ко мне бездомные коты,
Придут ко мне бездомные собаки...*

Так и видишь этих четвероногих свидетелей умирания деревни – как сходятся они из всех глухих уголков местечка к тому, единственному, кто может спасти, даст тепло и кость какую-нибудь, пусть и завалящую, а всё – радость, всё – жизнь... Сходятся не поодиночке – волнами этакими, и впрямь словно в мифе, в сказке.

– Да так все и было! – смеется Колычев, когда рассказываю ему о своем восприятии этих строчек. – Все разъехались, деревня – пустая. Куда ж им податься? Вот и идут ко мне погреться да подкормиться...

Интересно, что жанр, к которому я бы отнес это стихотворение, автор обозначил сам – еще в первой строфе, там, где рассказывает нам о своих ближайших планах, о том, что намерен «и пить, и плакать, снова пить и петь». Да, «Невмоготу себя перетер-

петь...» – это плач, сродни тем, что бывовал у наших пращуров. Горький, отчаянный. Но – не безутешный. Не безнадежный... В нем нет слабости. Наоборот, есть ощущение силы, которое рождает каждая строчка, даже самая страшная, бедовая. Есть мощь героя, который, подобный средневековому асу, способен найти выход из любой беды, с любым злосчастьем совладать, как бы ни суетились темные силы. Именно об этом концовка, однозначная и резкая, как удар скандинавского боевого топора, не терпящая возражений: «Я пью не потому, что жизнь плохая, А просто – осень. Потому и пью...»

Поэт и кочегар

Колычев родился в семье инженера пароходства. Дальше – биография, в общем, обычная, без особенных неожиданностей. После окончания восьмилетней и музыкальной школ в Кандалакше учился в Ленинградском арктическом училище, откуда был отчислен за недисциплинированность. Служил в армии. Затем работал электриком, шофером.

Он очень хотел жить на своей земле и своим, крестьянским, трудом (человек земли!), старался ни от кого не зависеть. В августе 1990-го основал в селе Лувеньга, что недалеко от Кандалакши, одно из первых в стране фермерских хозяйств. Крестьянствовал шесть лет, полгода – в Норвегии.

Первые поэтические публикации Колычева состоялись в кандалакшских газетах в 1982 году, тогда же его стихи увидели свет и в столице – в альманахе «Истоки». Уже в 1987-м вышла первая книга – «Учусь грустить и улыбаться», после чего последовала серия публикаций в «толстых» литературных журналах «Нева» и «Север», альманахе «Поэзия». Как отмечал в отклике на эти публикации известнейший московский критик Иван Панкеев, герою стихов Колычева не дает покоя постигшая современников «эпидемия равнодушия». Причину этой беды «герой Колычева ...видит во все большем неумении людей любить друг друга: «...все беды на земле идут от вас, нелюбящие люди...» Этот герой, по мнению критика, «опасается людей с нелюбящими сердцами, так как они никогда не скажут о своей нелюбви: «Ведь нелюбовь провозглашать нельзя, она всегда прикрыта тайной маски...»

Думаю, что нота, отмеченная Панкеевым, стала для Николая одной из основных, направляющих – и в поэзии, и в жизни. Он всегда – даже в ругани и обидах – живет любовью, а не ненавистью и злобой, как это иногда случается у писателей.

Что же до стихов Колычева, то они внешне просты – точно срифмованы, ритмически организованы,

словом, традиционны для отечественной поэзии. Один из его наставников и старших коллег по поэтическому цеху Виктор Тимофеев когда-то отмечал: «Как подлинно русский поэт, он не поставил слово в услужение смеховой развлекательности или метафорической эквилибристике... Он выбрал некрасовско-рубцовское, главное русло русской поэзии».

С 1998 года Колычев жил в Мурманске. Долгое время нигде не работал, жил исключительно литературным трудом. На короткий срок даже стал кочегаром одной из жилищно-сервисных компаний (руководил ею, к слову, тоже поэт – Михаил Зверев, он Колю и устроил), что отопляет областной центр. Достало вечное писательское безденежье – что делать, если серьезной литературой в современной России не проживешь, особенно стихами. Помню, как на Рубцовских чтениях в Апатитах Колычев говорил о своем кочегарстве. С горечью говорил – о том, что если судить по его нынешней зарплате, то он Мурманску больше нужен как кочегар, а не как поэт.

Та же тема возникла на каком-то большом поэтическом вечере, когда я спросил, как обстоят дела с его прозой – романом о Феодорите Кольском, работу над которым Колычев так и не завершил – написанное умерло в сгоревшем твердом диске компьютера.

– Я его дописал... – ответил Николай. И добавил: – В том смысле, что писать дальше не буду.

– То есть?

А Колычев в ответ:

– А зачем я вообще это делаю всю жизнь – пишу? Разве нужно это кому-нибудь?

Вроде бы и не совсем всерьез говорил, почти в шутку, но задуматься заставил... Бросился я было убедить его:

– Зачем? Понятно, что не ради денег... Но вот, к примеру, станет мне плохо, Коля, и я ведь не какого-нибудь Дмитрия Пригова захочу прочесть, а – Колычева. Прочтешь «Знаешь, отчего светлеют дали...» – и легче станет, и о печалях забудешь. Разве тебе этого мало?

Поэт в ответ только головой – тяжелой, неумной – покачал и улыбнулся печально.

Как бы ни было, какими бы порой невыносимо трудными ни были наши взаимоотношения, мне всегда очень хотелось, чтобы Колычев продолжался – и хорошими стихами, и прозой своей мастерской (в последней в полной мере он так и не смог себя реализовать – не успел). А для того чтобы они появлялись, нужно не только умение и силы, но – желание, вера в себя, которые и приносят признание – общероссийское, серьезное. Ведь именно оно, признание, – главный итог всяческих наград и премий. Не деньги, конечно, нет. Хотя и они поэту, зарабатывав-

шему на хлеб насущный в кочегарке, понятное дело, не помешали... Но признание важнее.

Очень трудно сказать, достаточно ли ему было такого даровано. Вроде бы и публикаций, и книг, и премий было во множестве. И любовью народной он обделен не был. Колычева любили! На Севере – повсеместно, везде. Но в России его все-таки знали поскольку-постольку. В профессиональных, литературных кругах – да, безусловно, но читатели, широкий круг – скорее нет, чем да. В центре его почти не печатали, на гастроли вне области он выбирался не часто, по телевизору не показывали, книга в Москве вышла только одна – откуда ж возьмется признание? Спасение – интернет, там Колычева было порядком, но здесь тоже всё далеко не просто. Сеть ведь на то и всемирная, она необъятна и трудноуловима – надо ж знать, где искать! Хотя бы на уровне имени. А знали не все.

От корней

Что же такое Колычев как факт литературной жизни, как литературное явление? Если говорить об истоках, то они очевидны. Это прежде всего, как было уже сказано, – Есенин и крестьянские поэты, Павел Васильев, из современников – Николай Рубцов.

Связь с Есениным, с идущей от него поэтической традицией видится мне наиболее крепкой и заметной. Они родственны и по интонации (залихватски-хулиганской порой, но, по сути, всегда отчаянно-грустной, бедовой), и конструктивно. Близок Колычев Есенину и тематически. Когда читаешь: «То ли снег в окно стучится белый, То ли пыль непройденных дорог... Сколько в жизни я еще не сделал! Сколько сделать я уже не смог...», слышится есенинское: «Как мало пройдено дорог, Как много сделано ошибок...»

Соприроден, родствен мурманчанин и Рубцову, но Есенин ему все-таки ближе. Голос Колычева надрывен – отчаянный, страшный: «Больно – это меня от корней отрезают пилою хрипатою...»

Нота Рубцова тише, камерней, потаённой. Он не кричит, он говорит тихо, обречённо, но его тоска и горечь ощутимы от этого ещё сильнее. Его краски сдержанней, тоньше, приглушённой. От этого переживаемое им ненастье еще трагичней и тягостней. Колычев прямолинейней, резче, определённой, что ли...

Как Есенин и Рубцов, Колычев – поэт подлинно национальный, очень русский – от корней, от истоков России. Это очень важно, ведь, как отмечал русский философ Иван Ильин, «подлинное величие

всегда почвенно, подлинный гений всегда национален». Тема Родины для Колычева – главная, определяющая. Россия, родная земля так или иначе присутствует во всех его стихах. Его русскость, принадлежность культуре, истории, многовековому опыту России очевидна даже в самых личных, интимных произведениях поэта.

Остро, болезненно переживал он все беды и горести нашего Отечества в лихие девяностые, когда все было на грани, когда речь шла о том, выживем или нет. Стихи Колычева тех лет, полные угрюмой тоски и безысходности, страшат и ранят: «Вымираем... И женщинам страшно рождать...» – это похоже на стон.

Что говорить, поэт был безжалостен, но справедлив в своих упрёках эпохе и властям предержащим. Да, мы так жили. Как уже не раз бывало – на грани света и тьмы, существования и небытия, из крайности в крайность. То «жизнь гармошку растянёт», то «смерть гармошку сожмёт». Россия на грани, в пограничном пространстве между жизнью и смертью. Противоречивость русской жизни Колычев ощущает предельно остро и передаёт точно, зримо: «О, Родина! Как хорошо... Как горько...», «Россия – гармония противоречий...»

«За окном – родная страна. Галерея грустных картин...» «Грустные картины» это и «заплёванный перрон», где «в ларьке шаром покати», где «самосвал буксует в грязи», а «изба черна, как печаль». Все так, но –

«Все равно я выпью за жизнь. Все равно я выпью за свет, Что придёт согреть нашу твердь. Жутко, если радости нет, А безверье – верная смерть...»

Вот она, главная наша беда – «безверье». Нельзя без веры. Нужно верить – в свет, в радость, в лучшее. Не плакать, а – жить. Только так устоим, выдюжим, как уже не раз бывало и будет. Необходимо верить. Но во что? Каждый решает это для себя сам. Колычев на этот вопрос ответил: «И уже не в строй, не в государство, Верю – в поле, в тихий шум берез...» И еще – «Я люблю... Я верую в Россию! Жить нельзя без веры на земле...»

Россия Колычева трагична, но при этом, несмотря на все несчастья, она и прекрасна. Что бы ни происходило со страной, остаются нерушимыми, незабываемыми некоторые святыне для каждого русского человека вещи – те, в которые стоит верить. Именно отсюда исходит уверенность поэта в неизменном восхождении «из дряни – к куполам золочёным», вера в то, что постигшее Родину ненастье временно...

Колычев писал о Родине много и разное – на отдельный, объемистый сборник хватит. Однако, как мне видится, не все такие стихи заслуживают публикации. В произведениях на эту тему проявилась од-

на неприятная тенденция. Поэты часто уходят здесь от реальности в пустое словоговорение – риторику. Риторику уже не коммунистическую (обычную для советских поэтов), риторику нового типа – патристическую. Там есть всё: и плач о наших нынешних бедах, и тоска по прежней России, и т.д., и т.п. Нет в них лишь одного – жизни, живой боли. Такой поэт декларативен, он лишь называет проблемы и горести, но не показывает их (в чем, собственно, и состоит его задача как художника), а посему и не хочется ему верить. И не веришь! В свое время поэт Владимир Соколов дал очень точное определение таким риторическим упражнениям – «бумажные березы»: «Я среди зелени сада И среди засухи рос. Мне непонятна отрада Ваших бумажных берез...»

У Колычева таких «берез» не много, но есть. Даже среди последних его стихов такие встречаются – посмотрите хотя бы «Пусть небо русское лежит на русской тверди...».

И странно видеть их рядом со стихами, которые наглядно противостоят пустому словоговорению, показывают, как может он писать о том же, о тех же проблемах, но по-другому. Скажем, стихотворение «Ангел белый», в котором мы лицом к лицу сталкиваемся с безжалостной, не щадящей собственных детей Россией:

*Побирушка, побирушка...
Жизнь рождением наказала.
Большеглазая девчушка –
Побирушка у вокзала.
Платьице на тонких ножках.
Личико... Да горстка боли –
Утлой лодочкой ладошка
Плещется в народном горе.*

Вот это – правда.
Это не просто слова.

«Социалка» и публицистика

Колычева порой корили за излишнюю публицистичность. Я бы эту проблему несколько иначе определил. Публицистика, знаете ли, – жанр высокий, даже в поэзии. За это корить не стоит. Не надо путать с ней стихи социальной направленности – пошлую «социалку». Это разные вещи, порой противоположные. До публицистики нужно дорасти, созреть. «Социалке» этой самой пресловутой Колычев, безусловно, много сил отдал. Здесь показательно одно очень известное, почти хрестоматийное его стихотворение «О, Родина! Что с нами будет дальше?». Прочитав полностью, хоть и длинное, но оно того стоит.

О, Родина! Что с нами будет дальше?
 О, Господи! Страшнее смерти – жить...
 Стоят и плачут девочка и мальчик.
 Пьяней вина – меж ними мать лежит.
 Они стоят, пугливо озираясь,
 Ее позор пытаюсь заслонять.
 И пыжится, с карачек поднимаясь,
 Растрепанная, спившаяся мать.
 Кряхтит, хрипит отборной матерщиной,
 Лицо в соплях, и рукава – в грязи...
 А мимо – милицейская машина
 Проехала, слегка притормозив.
 Какой им прок от этой... безработной...
 Презрительно взглянули с высоты.
 Да... Брезгают мочой и блевотой
 Холеные и сытые менты.
 А детская любовь не знает срама.
 Вцепились в мать, глядят машине вслед...
 Всем – пьяница.
 А им – родная мама.
 У них другой на белом свете нет.
 Их детвора, собравшись, задирает:
 Кто палкой бросил, кто толкнул, кто пнул...
 Девчонка маме сопли утирала,
 А мальчик – за рукав ее тянул.
 Шли мимо мужики. Остановились.
 И долго вспоминали, подлецы,
 Когда и кто, и сколько с ней любились,
 И спорили: кто у детей отцы.
 – Не надо, мама. Люди, стыдно, мама...
 – Ну, мамочка, вставай в конце концов!
 Вновь мальчик за рукав тянул упрямо,
 А дочка утирала ей лицо.
 А мать на них глядела обалдело,
 Без разума, без чувства, без души...
 И все-таки с трудом воздела тело,
 Досадуя на то, что надо жить.
 ... Подставив плечи, дети уводили
 От злых людей свою родную мать...
 Когда бы мы Россию так любили,
 Тогда бы мы смогли ее поднять!

Вот вам наглядный, яркий пример, как текст, пусть и очень умело, мастерски сделанный, долгое время не перестает быть газетной «социалкой», хоть и талантливой, но не более того. И таким бы он и остался, если бы не концовка! Пугающий, предельный натурализм и зримые детали уличной жизни недорого бы стоили, если бы не последние четыре строчки, которые заставляют всё, что было прежде, стать образом. Поэт ит-жит свинцовые мерзости темного царства России 90-х потрясающим, переворачивающим душу обобщением, которое делает средние стихи

высокой поэзией. На наших глазах пресловутая «социалка» становится публицистикой.

Падшие

В дни 90-летия Василия Макаровича Шукшина внимательно его перечитывал. А параллельно, так уж случилось, много читал Колычева, стихи последнего года жизни, и не только. И неожиданно пронзила их близость в одном моменте. «И милость к падшим призывал...» Вот это очень явно проявляется – и у Шукшина, и у Колычева. Кто-то скажет, это же норма для русского писателя, это же Пушкиным завещано, да и всем устройством русской жизни, русского миропонимания заповедано. Норма-то норма, но не у всех это есть. Далеко не у всех. А уж настолько обостренно, как у названных мной, так, пожалуй, у единиц. У Достоевского – безусловно (это и понятно, он и сам был какое-то время «падший», с обыденной, обывательской точки зрения – так однозначно), у Толстого – да, но лишь отчасти, не в той мере все-таки. А у Шукшина – это одна из основных тем творчества – вспомните тот же жуткий, трагический, один из лучших его рассказов «Охота жить», а в кино – «Калину красную». То же и у Колычева.

Герои Колычева – люди на обочине: бомжи и побирушки, сидельцы и бездомные бродяги, выпивохи и всяческие дядьки несуразные вроде того, что среди ночи в снегу под окном ключи ищет... А мать – «растрепанная, спившаяся», «лицо в соплях, а рукава – в грязи», которую дети из лужи пытаются вытащить – разве ж такую забудешь?.. Падшие люди, что тут скажешь.

Да Колычев ведь и сам (как и Шукшин!) себя от них не отделяет. Поэт – один из них – забытый, страдающий от бездомья (и личного, и всеобщего) и одиночества перед надвигающейся смерти-Зимы нищий певец – об этом, в том числе об этом, его хрестоматийное «Невмоготу себя перетерпеть...». Он, как и Шукшин, – среди падших, рядом с ними. Поэтому и пишут – и Колычев, и Шукшин – с такой кричащей болью о подобных людях. У Толстого такого по определению быть не могло. Тот себя выше ставил и, наверное, имел на это право. И то сказать, ему бы всё народы пасти, тут не до милости к падшим.

И совсем не случайно в стихотворении, о котором мы уже говорили, – «О, Родина, что с нами будет дальше?», о женщине в луже, Колычев уподобляет ее родной стране. Это не просто мощная точка, поэтическое обобщение, могучий философский финал пугающего натурализмом произведения. Но это и

данность, горькая данность, к сожалению, не утратившая актуальности и поныне. Все мы – падшие, все мы – часть такой России.

Другой вопрос, может быть, самый важный и, пожалуй, абсолютно русский, только у нас возможный. Ну да, внешне-то с падшими всё ясно – не тот фасон, что принят в приличном обществе, это понятно, справедливо. А если не только по костюмчику судить? Вспомните ту женщину колычевскую и задумайтесь на секунду. А вот мужики, что мимо идут и ведут диалог в режиме «когда и кто, и сколько с ней любились, и спорили: кто у детей отцы», а служители порядка, что всю ситуацию не выходя из машины наблюдают, потому как «брезгают мочой и блевотой холёные и сытые менты» – они кто? Не падшие?

Бардничество

Он жил затратно, не жалея себя. И иногда казалось, что тратит великий дар впустую, не только себя, но и его не жалея. Помимо стихов и прозы, ведь еще и песни были, много песен. И поэзии это явно было не на пользу. Колычев-исполнитель собственных текстов и Колычев-поэт – это очень разные, порой противостоящие друг другу ипостаси творца. Горько сознавать, что публика целиком принимала первого, а вот подняться до высоты второго силы в себе находили не все. К сожалению, и сам автор на выступлениях зачастую больше пел, чем читал.

«На мой взгляд, бардничество – для Колычева губительно. Прежде всего потому, что оно по природе своей воздушно, поверхностно. По задаткам же, по масштабу дарования, по аналитическим возможностям ума и широте и сострадательности души Колычев – шире, глубже и выше бардничества! Оно его погубит (как талант)...» Так писал поэт Виктор Тимофеев в 95-м году, когда Колычев, по сути, только начинался и все было еще впереди. Нет бы послушать старшего товарища! Как мы знаем, не послушал. Почему? А с гитаркой проще! Она и музыка – защитницы верные не слишком хорошим стихам. Да, они помогают достучаться до читателя-слушателя, но при этом подчас высокую поэзию принимают до уровня песенок, где боль автора порой и не услышишь. Страшно, предательски по отношению к поэзии то, что зачастую песнями становятся не лучшие тексты. У Колычева – та же история: стихи, ставшие песнями, не плохие, подчас даже хорошие, но далеко не лучшие. И это понятно. Ну не нужна музыка «Звонарю», зачем она ему?! Он самодостаточен, чистое золото, которому примеси не нужны. И «Невмоготу себя перетерпеть...», и «Буду молчать» песнями не сделаешь при всем желании...

Поэт он был природный, стихи ему давались легко – лились из него, словно реченька вольная. Требовали работы, конечно, но все равно – лились, даже приходилось делать что-то на заказ. Так родился, к примеру, его пограничный цикл. Так Колычев стал автором нескольких гимнов, включая, к примеру, гимн, написанный по просьбе федерации натурбан (есть такой вид спорта, гонки на санках на натуральных трассах, основные находятся в родной для Колычева Кандалакше). По просьбе друга – известного баритона-мурманчанина Геннадия Ру – поэт перевел несколько суперхитов Джо Дассена. Играючи! Перевод – не буквальный, авторский. И получилось здорово, лучше оригинала, там текст скучнейший, а здесь – по-колычевски пронзительный, ранящий:

*Отгоревший на ветру, со стылой ветки лист упал.
Так роняет ладонь в никуда прах мечты несбывшейся.*

*С дрожью отражает пруд холодных лестниц выступы.
Я теперь далеко от тебя, ты прости, что вышло так.*

*Не вернуть, не повторить мгновенья счастья краткие,
Боль в груди – как подветренный стон
треснувшего дерева.*

*Эта память о любви, как слёзы – горько-сладкая.
Отчего же мы ценим лишь то, что навек потеряно?*

*Отгоревший на ветру, со стылой ветки лист упал.
Боль в груди –
как подветренный стон треснувшего дерева.*

*С дрожью отражает пруд холодных лестниц выступы.
Отчего же мы ценим лишь то, что навек потеряно?*

Сам Колычев относился к этому опыту очень осторожно – просил не называть стихами, потому как это – работа текстовика-ремесленника, пусть и сделанная блестяще. Впрочем, это ли не стихи? Пожалуй, многим профессионалам, которые таким стихотворчеством зарабатывают, глядя на сделанное Колычевым, только и остается, что завистливо облизнуться – им такой поэтический уровень может лишь сниться. Но равный ли это размен? Стоят ли переводы, которые не без успеха исполнялись в ресторане гостиницы «Арктика», новых, абсолютно колычевских стихов?

То, что вне риторики

Риторика и бардничества вы не найдете у Колычева в стихах, обращенных к малой родине – Кольскому Заполярью. Мурману – всему этому не-

маленькому пространству «от моря Баренца до моря Белого» – он посвятил немало замечательных вещей. Север с его полярной ночью, суровым климатом, столь осложняющими обычную, каждодневную жизнь человека, живет в них естественно и неестественно – по любви.

*Край земли, край моря, край света...
Вот таким тебя и люблю.
Неспроста родился я в этом
Городе на самом краю.
Мурманск – это взморье и взгорье,
Берег – негде спрятаться лжи.
Скалы обрываются в море
Резко и внезапно, как жизнь.*

Это правильно, это достойно, это высоко – любить землю, на которой родился и вырос, помнить о ней, где бы ни находился, что бы ни случилось. Колычев рассказывает нам об этой земле – влюбленно, вдумчиво. Близкие его сердцу кольские названия встречаются в стихах беспрестанно. Это порой похоже на заклинание, на заговор, в основе которого родные, милые сердцу имена: «позади осталась Колвица, поворот на Выдру-ламбу», «сомкнулся лед над речкой Нивою, в сугробах белых Кандалакша», «я вижу Кандалакшский монастырь» и так далее. В стихотворении «Летняя ночь в Мурманске» поэт, пожалуй, даже излишне документален и точен в рассказе о своем ночном путешествии по столице Кольского края: «Возле «Родины» долго стоял я («Родина» – кинотеатр в центре Мурманска)», «мимо Бредова брел (здесь имеется в виду памятник пулеметчику Анатолию Бредову, погибшему при защите Заполярья)», «я прощенья за всё попросил у Кирилла с Мефодием (памятник славянским просветителям Кириллу и Мефодию)».

Кандалакша Николая Колычева – и это, должно быть, естественно – очень снежный город. Она всегда «в сугробах белых», здесь «вдоль дороги сосны клонятся, снег удерживая лапами». Что ж, Кандалакша – город северный, и еще не раз «вновь будет снег кружить над Кандалакшею», но это ещё и город у Белого моря, «приморский край», край парусный, где «бьют зверье несметное в лесах, И ловят семгу в полноводной Ниве, И высоко, в обитель облаков, взлетают плачи Севера России...» Строки эти одновременно и точны, и сказочны – из северорусского мифа, неслучайно Россия рифмуется с совсем уж сказочным Сирином, который «летит к истокам клюевских стихов...».

О Мурманске он пишет всё же иначе, без той теплоты, что всегда ощутима в стихах, где встречается Кандалакша. Колычевский Мурманск в стихах 90-х –

бесприютный, лирический герой чувствует себя в нём потерянно: «Ах, Мурманск! Все пути туда ведут, Где ищет пятый угол ветер жуткий...» Совсем не случайно одно из стихотворений, целиком выстроенное на мурманском материале, называется «Гостиница» (действие происходит в мурманской гостинице «Арктика»). Ну не дома, не дома он, чужое место! Гнетущие лирического героя неустроенность и неуют – главная тема, стержень этого стихотворения, каждой из его трех частей. Причем автор это всячески подчёркивает, обращает на это внимание читателя: «Ты не волнуйся за меня, жена, И даром никому я здесь не нужен». Как жёстко. И страшно. Некоторое кокетство, заключенное в этих словах, понимаешь в финальной части стихотворения, когда в его пространстве вдруг возникает некая «одинокая женщина», к которой в эту ночь приходит наш герой. Впрочем, то, что ищет, он здесь не находит, «одинокая женщина» не в силах помочь ему. Ведь хотелось-то ему «тепла, и не просто жилья, а приюта...».

Повторюсь, Колычев человек земли – не города, по повадкам и внутренней сути своей он – крестьянин. Житейски (не поэтически!) от этой исконной сути своей он отказался: жил в городе, но городским в полной мере так и не стал, хоть и врос в него, полюбил («Мурманск – я твой мытарь и пленник!»). Буквально по-передреевски: «И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село...» Город, ставший родным, манил, ласкал, взаимно любил его, но и сжигал: искушал, обманывал, продавал, на пятаки разменивал, делал одиноким, несмотря на сотни, тысячи людей вокруг. Одиночество в городском многолюдье особенно губительно и страшно, поэт переживает его с пронзительной, убивающей остротой. Унизительное (и унижающее!) одиночество. Об этом в стихах немало, даже в самых веселых вроде «Пятины» (Пятина – так мурманчане называют площадь Пяти углов – самый центр города, центрее не бывает):

*А на Пятине, на Пятине
Мне неуютно, как на льдине,
Мне одиноко, как в пустыне...*

Вместе с тем, конечно, любит он этот город – как иначе! Очень любит – нежно, с восторгом, и не стесняется в этой любви признаться:

*Как хочется стать мне
Огромным объёмом
От Колы – до Росты,
От Росты – до Колы!*

*Души моей хватит.
О, нет, я не спятил.
Я просто...
Я просто люблю этот город!*

А стихотворение про поезд, что внезапно «замер, словно вкопанный» в двух шагах от Мурманска и ждет встречного, а лирический герой мучительно, нетерпеливо ждет возвращения в родной город, ему «очень, очень хочется домой»? Наконец дождался:

*...Тронулись? Неужто тронулись?!
Ну, давай, быстрее, быстрее!
Я гляжу в окно вагонное
На Фадеев на ручей.*

*Захлебнувшись удовольствием
И от чувств почти без чувств,
Птицей вдоль проспекта Кольского
Я лечу, лечу, лечу!*

*Здравствуй слякоть! Здравствуй, грязь моя!
Гниль листвы на мостовой.
Я вернулся! Мурманск, с праздником!
Мурманск! Я опять с тобой!*

*Кажется, вокруг все кружится.
Я спешу – на всех парах –
Отразиться в каждой лужице
Сквера на Пяти углах.*

*Мне не жаль ботинки новые,
Этих луж не обойду.
То ль шагаю пританцовывая,
То ль танцую на ходу.*

*И от счастья невозможного
Так, чтоб слышал весь народ,
Я пою. Пускай прохожие
Думают, что идиот.*

Такое вот лихое сочетание «любви – нелюбви». Но таков и этот город, угрюмость которого, по словам поэта, «лишь маска нежной и доброй силы», однако законы его суровы:

*Ты – в состоянии непостоянства,
Ты – в постоянном ладу разлада...
Но сладок берегу ветер странствий,
И воздух родины морю сладок.*

Надлом русского мира

Колычев последовательно традиционен в области формы, если же говорить о содержании стихов, то здесь он не просто традиционен, он патриархален. Вековой, исконный уклад русской жизни лежит в основе его поэзии, это стержень, цементирующая идея мира, который создает в своих стихах поэт. Каков он – этот патриархальный мир? О его центральном, животворящем атрибуте – любви к Родине, земле предков, тому пространству (не столько географическому, сколько духовному), в котором пребывали, горевали, радовались, растили детей наши деды и прадеды, мы уже говорили.

Именно отсюда исходит свойственное патриархальному укладу почтение к старшим. И прежде всего к тем, что живут с тобой в одном доме – самым близким, родным. Да, по обычаю патриархального мира несколько поколений одной семьи (деды, дети, внуки) живут в одном доме. Патриархальная семья – семья непременно большая. Здесь и сам лирический герой, его жена, дети, здесь и его отец и мать, родители жены. Здесь «ложка по стойке «смирно» в тещиных щах стоит», а «на диване внучка с дедом, дочь моя с моим отцом». Отец и мать для поэта не просто родные, но и ниточка, связующая его с самим родом Колычевых – поколениями, что жили до него:

*От жизни к жизни. Остается в нас
Всё то, чему уже не повториться.
Вовеки не прервется эта связь,
Ведь наши лица – это предков лица.*

Любовь к своим предкам, знание их радостей и печалей – это, по сути, прикосновение к истории Родины. Связь с прошлым страны через отцов и дедов – к этой мысли Колычев обращается не однажды.

Его стихи к матери созвучны есенинскому «Письму к матери»:

*Подо мною лёд судьбы моей хрустит.
Не гляди мне вслед, я вновь пойду по краю,
За любовь тебя тревогами карая...
Не гляди мне вслед, вдогонку не крести.*

С той лишь разницей, что этот разговор с матерью не заочный, как у Есенина, – у Колычева мать рядом. То же и в разговоре с отцом. А посему и непонимание, возникающее в их разговоре, пережить легче, это – временная трудность. Поэтому и ситуация, рассказанная автором, – «друг к

другу потеряли мы ключи», – не беда, перемелется, ведь «зреют теплые слова» и вопрос: «мы их друг другу скажем – или нет?» – кажется риторическим. Такова живительная, умиротворяющая сила патриархального дома.

Дом в поэзии Колычева и как идея (дом – центр мироздания, дом-крепость, дом – основание жизни), и как конкретное пространство жизни – обустроенное, живое, полное тепла и уюта, где «в печи трещат дрова» и «от свечки – добродушный жёлтый свет». Разумеется, для Колычева идеальный дом – это дом свой: с подворьем, огородом, прочим крестьянским хозяйством, где «две недели теща пилит, что не колоты дрова». Поэтому так тяжело, как личную беду переживает поэт длящееся и в современной России противостояние города и деревни, что тоже сближает его с Есениным и поэтами есенинского круга.

Люди оставляют родину предков, переезжают в города, отдаляются от земли – это происходит на глазах у лирического героя, в его родном селе. Здесь, когда заканчивается лето, «сразу видно – где дома, где дачи, И дач намного больше, чем домов...», как в стихотворении «Невозмогу себя перетерпеть...», о котором мы уже говорили.

Мир деревни пошатнулся, он надломлен наступлением цивилизации: бывшие селяне живут в городах, в деревню приезжают на сезон – на лето. Деревеньки потихоньку умирают:

*...как страшно понимать,
Что летом жизнь кипела понарошку...
Вот вывезут последнюю картошку
И – грянет смерть по имени Зима...*

Следующие две строчки этого осеннего стихотворения потрясают: «Придут ко мне бездомные коты, Придут ко мне бездомные собаки...» Они звучат неожиданно, свежо, не укладываются в рамки последовательно, логично выстроенного стиха. Находясь в безусловной связи с содержанием предыдущих строф, эти строчки по интонации, по предмету, на который обращает внимание читателя автор, иные... До этого поэт рассказывает о бедах, переживаемых деревней, серьезно и тягостно. И вдруг прерывает свои невеселые размышления такой блистательной наивной строчкой, стоящей в стороне, особняком. Конечно, за «бездомными собаками» явствен образ беды, очерченный одним ярким, точным штрихом. И в то же время «бездомные собаки» – реальная деталь мира, о котором повествует поэт. И строчка максимально приближает читателя к миру, оживляет его.

Для Колычева «дом» – не дача. В его понимании «дом» – это, повторяю, патриархальный крестьянский дом, с огородом, с хозяйством. Именно с таким домом связано дело, которое кормит главу крестьянской семьи (патриарха) и его близких. Дело, на котором основан и дом, и в целом жизнь семьи, – труд крестьянина. Работа на земле – та работа, которой из века в век занимались предки Колычева. Для самого поэта она – жизнь. Колычев работал на земле несколько лет и подробно рассказывал об этом читателям «Севера» в очерке «Как я был крестьянином в России и Норвегии». И стихов на эту тему в ту пору написал немало. Особенно удались ему истории о животных: «Бык», «Корова», «Мычит, как будто просит...» Последнее стихотворение – о телёнке. Так что получается своеобразный поэтический триптих о коровьей семье.

Эти стихи написаны в одной, минорной тональности. Все истории о животных, рассказанные нам поэтом, – грустные. В стихах очень ощутима та самая Зима, которая равносильна смерти, надлом, который переживает лирический герой. Надлом всей жизни, всего существа крестьянина (здесь они – истоки многих бед современной России, русского мира). Проявляется он и в общем настроении, и в деталях, в подробностях, которые сообщает нам автор. Корова у него сбежала с «опостылевшей» фермы, герой идет кормить быка – а зачем, если резать? О телёнке и говорить нечего – тот сразу, с первой строчки «мычит, как будто просит: «Пожалей!» Обобщают крестьянские горести Колычева пронзительные строчки из стихотворения «Ветер, ветер...»:

*Задержись, пора ночная, на земле!
Не всходи на небо, алая заря!
Целый год скотину холил и жалел,
А наутро буду резать да шкурять.*

Это уже не жалоба. Это крик, от которого страшно становится. Вместе с тем герой стихотворения понимает, что «резать да шкурять» – таков обычный порядок вещей, естественная для крестьянского бытия необходимость, вынужденная жестокость. Несмотря на это, ему всё «хочется прощения просить, словно кто-нибудь услышит и простит...». Как писал всё тот же Виталий Маслов об этих строчках, «с сотворения мира это – резать скотину, когда подойдет срок – было, и ни один поэт не решился тронуть это. И вот – переломился мир на этом, душа поэта переломилась!» Маслов-то это, как и его Пряслин, хорошо понимал. Это и для Колычева хоть и мучительно,

но нормально. Вот как он определяет для себя счастье и радость: «В тугую синеву реки вплетается зеленый ветер. Кричит петух, мычат быки... Есть радости на белом свете!»

Удивительна эта особенная спаянность поэтов есенинской школы с природой. Словно человек столь близок с животными и растениями, что едва ли не сливается с ними в одно существо, надевая их своими заботами: «Я ведь тоже природа – как ветер, как лес, как трава...»

Замечательно стихотворение, в котором автор рассказывает о странном беспокойстве, что охватывает вдруг невдалеке от родного дома, от ощущения – «на этом месте чего-то остро не хватало». И, как горькая догадка, всё объяснившая: «здесь раньше дерево стояло...» («Седыми мхами редколесья...»). Деревьям Колычев вообще уделяет много внимания, они – живые, действующие персонажи его стихов, совершающие поступки, страдающие, как люди: «как гнётся рябина... Наверное, что-то болит...»

О связи человека, его души с миром окружающим, о зависимости человека от этого мира – стихотворение:

*Человек тридевятую вечность стоял над женою,
Положив на живот ей ладонь – как огромное ухо.
Где-то плакала птица –
сквозь ветер и дождь за стеною,
Долгожданный – в жене –
кто-то третий ворочался глухо.*

Человек мучается – жена рожает. За окном плачет о чем-то птица: «О, как птица страдала!» Человек – мужчина, муж, не выдержав этого плача, выскакивает во двор, стреляет на звук в темноту, и – «рыдания птицы замолкли».

*Но застреленный плач возродился –
в жилище угрюмом,
За окошком жена омывала ребенка над тазом...
Опершись о ружье, он стоял и покачивал думу –
То жалел, что убил...
То пугался: а если б промазал?*

«Хочу тебя – до сумасшествия!»

Любовная лирика Колычева сближает мурманчанина уже не с Есениным, но с Павлом Васильевым, стихи которого о любви гораздо более телесны, чувственны. В них ощутимы крутая мужицкая сила, напор, мощь. В этом ему Колычев сродни. Однако, в отличие от Васильева, стихи Колычева разноплановы – от милого, тёплого «Знаешь, отчего светлеют дали?» до безрассудного,

сочного, плотского «Хочу тебя – до сумасшествия» (вполне в духе васильевского знаменитого стихотворения «Любовь на кунцевской даче»):

*Хочу всю ночь тобою властвовать.
Раскинутой, полурасколотой,
Развергнутой – до боли – ласками!
Глаза – в бездонное забрасывай,
Подушки заливая золотом!
Русалка!
Бейся крупной рыбою
И воздух ртом хватай по-сёмужьи.
Пускай пружины на разрыв – поют,
Живём – единова! Не всё – мужьям!*

Сколько движения и силы! Как зримо рисует этот момент свидания любящих людей, «когда любовь сплела их на кровати, сминая под телами одеяло». Да, для таких стихов нужны другие слова. Автор становится здесь более резок, решителен, дерзок, порой по-мужицки груб. В таких стихах «созревшая грудь заостряет соски» и «пеною кипит волна – от тела знойного».

*Знаешь, отчего светлеют дали?
Зреет в них весеннее веселье.
Скоро зацелует – до проталин
Солнышко заснеженную землю.*

Вот это «солнышко» – одно из любимых слов Колычева. В любовной лирике он использует его часто – и в прямом значении, и метафорически, вплетая это тёплое слово в образную структуру своих стихов. Это и обычное «красное солнышко», и «солнца пряник лакомый». Образное использование «солнышка» гораздо интереснее. У Колычева оно всегда связано с рассказом о любимой: «Пить и пить – и не испить до донышка... Сладкий поцелуй неуголимый. Надо мною – теплое, как солнышко, Ясное лицо моей любимой». В другом стихотворении он сравнивает с солнцем глаза избранницы: «твои два солнышка под пушистой русой челкою». Эта особенность лексики целиком относится к стихам о любви, в которых Колычев мягок, нежен, лиричен.

Каким же любовным стихам Колычева отдать предпочтение? И те, и другие – по-своему хороши. Мне лично ближе последние – полные тихого очарования и спокойной, незатейливой красоты. Любовь – это радость и свет, это жизнь. Одна из тех радостей, которые, очевидно, и имел в виду поэт в упоминавшемся уже стихотворении «Есть радости на белом свете».

Причастный к тайнам

Вера в Бога – обязательная для патриархального крестьянского мира черта. И в стихах Колычева вера – спокойная, глубокая вера в присутствие во всем, что происходит на земле, высшего разума, безусловно, живет. И нет-нет да и проявляет себя, порой – ярко и торжественно, и всегда – достойно. Собственно духовных стихов у него немного, но они неизменно хороши.

Для поэта (да, пожалуй, и для любого человека так, но для поэта особенно) сегодня вера в Бога – главная опора в земном мире, полном горя и страданий. В стихах Колычева жива светлая уверенность, что вера поможет выстоять и ему лично, и всей России. В эпоху поверженных кумиров это последнее, но единственное – живое, истинное, что дарует спасение. Вера в Господа нашего, в православие, живет века, и передала её нам предыдущие поколения русских людей:

*Шелуху от лука, как издревле, крашены яйца,
Сладкий хлеб и кутья на столах – как столетия назад.
Изменяется мир. Но народу нельзя изменяться.
Проклят нас потомки. И предки за то не простят.
Здравствуй, сладкая Пасха! –
 веселье разлилов весенних.*

Здравствуй, радостный свет –
половодье растаявшей тьмы.
Мы воскреснем! Сегодня –
не верить нельзя в воскресенье,
Потому что едины – и Бог, и природа, и мы.

Еще одно из стихотворений Колычева посвящено другому великому празднику православного мира – «Прощеное воскресенье». Оно открывается городским пейзажем. Мурманск, в который «всей России снега белостайно слетаются», в этом стихотворении прекрасен. На фоне города, в котором «третьи сутки подряд – снегопад, снегопад, снегопад» и «душа – словно снег – и чиста, и легка, и мягка». Изумительно точное, блестящее завершение строфы: «Осени, снегопад, Божий мир Воскресеньем прощеньем! Дай нам сил милосердных и друга простить, и врага». Сколько света, чистоты, тепла в этом «пограничном» – на стыке зимы и весны – произведении!

Стихи на религиозную тему в 2011 году стали отдельной книгой «Куда ты уйдешь?..», названной по строчке «Куда ты, дурак, от Бога, Бродя по Руси, уйдешь?..» Значительную часть ее составили большие вещи: балладного плана стихотворение «Гусляр и барин» и три поэмы. Лирика – очень разная – от программного, но поэтически

небезусловного «Пусть небо русское лежит на русской тверди...» до стихотворений небывалой силы и высоты вроде замечательной зарисовки-притчи «Медленно»:

Пахло в её избе хлебом и ладаном,
Медная длань проползла по лицу бледному.
С белых волос пёрышко вниз падало.
Медленно.
Медленно...

*Ликам икон пела псалмы женщина,
Время текло голосу в лад – плавное.
Тестом, с края стола свешивающимся,
Воска слезой, выплавленной пламенем.*

Медленно-медленно пола коснулась коленями,
Длилось и длилось мгновенье поклона последнего...
Малая малость уже оставалась времени,
И потому для неё и текло оно – медленно.

Внук заглянул в окно
с улицы – надо же! –
Запечатлелось краткое, заоконное:
Как перед смертью встала с лежанки бабушка
И повалилась со стоном перед иконами.

Как отличаются эти стихи от процитированных чуть раньше! И немудрено. Это – Колычев зрелый, не просто искушенный, опытный мастер, постигший все тайны стихотворного ремесла, но – большой поэт, причастный к тайнам бытия.

Удивительное здесь сочетание небесного и земного, их сосуществование – нераздельное и неслиянное. Оно первой строчкой задано: «пахло в ее избе хлебом и ладаном». Хлеб – без которого земную жизнь не прожить, и ладан – совершенно не нужный в житейском смысле, абсолютно не от мира сего, в житейской суете нашей совсем не нужный. В стихотворении, вообще, несколько антитез, оно, несмотря на внешние спокойствие и лад, наполнено противостояниями – в нем соседствуют и незримо (а подчас и зримо) входят в конфликт время и вечность, молодость и старость, жизнь и смерть, наконец.

А как тонко, ненарочито показано, насколько по-разному для героев стихотворения течет время! Для главной героини, конечно, медленно. А для внука ее, конечно, иначе, стремительно, коротко. Впрочем, на грани перехода в мир, где категория времени перестает существовать, понятие вроде «быстро-медленно», думается, весьма условны.

Показательно, что главная героиня этой вещи и перед смертью, готова себя к жизни иной, перед иконой – открытой двери в небо – не только мо-

лится, но и о земном, насущном (том самом хлебе!) не забывает – тесто-то, что с края стола свешивается, ее руками сотворено, ничьими другими. И так и должно быть! Да, дальше для нее – жизнь вечная. Но и земная при этом не кончается: внучок, заглядывающий в окно, видящий то, чему, наверное, еще не знает имени, тому порукой – знак продолжения: семьи, рода, страны родной, наконец, с ее историей и языком, многовековыми устоями и верой предков.

Являя неявляемое

Безусловно, среди духовных стихов Колычева выделяется, стоит особняком «Звонарь», давший имя одной из лучших книг Николая – «Звонаря зрачок». Как всякое выдающееся произведение, «Звонарь» рассказывает нам не только о чём-то определенном – конкретном, предельно ясном, но и о том, что трудно определить, вычленив из множества смыслов, заключённых в нём.

Но сначала – о том, что лежит на поверхности: ответ на вопрос, который естествен для любого поэта – «что есть Поэзия?», понимание специфики и возможностей этого вида искусства. Колычев утверждает здесь способность с помощью поэтического Слова видеть скрытое от глаз, недоступное осязанию:

*И понял я тогда, что обречен
Увидеть то, что шире воспринять:
Ведь эта тьма – лишь звонаря зрачок,
А этот сон велик и необъятен.*

«Увидеть то, что шире воспринять» – это о возможности Поэзии, как писал великий русский философ Алексей Лосев, «являть неявляемое». И тьма здесь как раз то самое «неявляемое» – скажем, неведомое прошлое и будущее (чему поэт не может быть свидетелем объективно) и – непознанное вполне, непонятное настоящее. «Сон» же тот, что «велик и необъятен», – это жизнь, бытие, которое объединяет прошлое, настоящее и будущее в единое целое, пространство, где всё происходит. Используемое Колычевым в качестве названия книги определение «звонаря зрачок» – очень глубоко. Ведь «звонаря зрачок» – это Поэзия. А потому «сквозь тьму зрачка я вижу белый свет, в котором нет ещё меня на свете...»

Очень точно обозначена в «Звонаре» и богоданность Поэзии. Для автора очевидно, что его возможность видеть то, «что шире воспринять», ниспослана свыше, его сверхчувственные способности божест-

венны по своему происхождению. По Колычеву, поэт – «звонарь», главный герой стихотворения, который «смотрит в небеса. И видит Бога».

Вот так неожиданно возникает новая тема – поэта и поэзии. Впрочем, неожиданна она для крестьянина, но в нашем случае крестьянин – поэт, из тех, кто «землю попашет, напишет стихи». Задумываться о сути своего творчества Колычеву не приходится. В «Звонаре» мы это ощутили вполне.

Стихов таких у Колычева в достатке – на тематический сборник в свое время хватило, мы уже о нем говорили, очень неровная получилась книга.

«На Руси за Божий дар поэт всегда платил судьбою...»

Точно, пусть и общеизвестно. Стихи посвящены Рубцову. От них, к слову, произошла идея московского издания Колычева – на эти стихи наткнулась при составлении «Поэтического венка Рубцову» его редактор, поэтесса Ирина Панова. Замечательна концовка в общем-то проходного для Колычева стихотворения: «Успеть. В последнее – «Люблю» вложить прощение убийце». Очень сильно и высоко. Это уже вне узких рамок темы – из области таких вселенских понятий, как «добро» и «зло». Талантливым продолжением рубцовской темы стало стихотворение «Прощай, листва...» с его страшной, но точной формулой: «Поэты выпадают в небо, когда им тяжело на земле...»

Удалась Колычеву и зарисовка «Общежитие Литинститута». Место действия конкретно. Обстановка, внутренние интерьеры знаменитой «общаги» Литературного института на улице Добролюбова выписаны весьма точно, натурально. И «немытые окна», к которым «лицом испитым прижалось утро», и «заплёванный коридор», по которому «бродит» лирический герой, – безусловная реальность, которую легко представить даже и не бывавшим в этой обители будущих классиков русской литературы, куда «не надо пускать нормальных». Хороша концовка, которая словно противопоставлена, а на деле созвучна тому, о чём рассказывал автор: «Я эти лица однажды вспомню, Вздохнув: «Как были они прекрасны!»

Да, несмотря на неприглядную обстановку обветшавших комнат знаменитой «общаги», лица людей, которые здесь живут, а значит, и души – прекрасны.

Касается этой темы Колычев и в последних стихах, еще не изданных, которые только в Интернете можно найти.

Они почти все очень горькие, даже не зная, что предсмертные. «Я, словно баба, выкидышами измученная: Стихи зачинаются – да не рождаются...» Лирический герой, сразу за спиной которого сто-

ит автор, – мятущийся, сомневающийся, не верящий в себя, – не только настоящего, но и прошлого, поражает беспросветным унынием, безысходностью, царящей в душе:

*Эх, сжечь бы все, что было –
как тетрадь,
Былое все перелопатить –
начисто...
Как трудно было
начинать писать,
А оказалось,
что трудней – заканчивать.*

Просветления есть, но редко. Шуточная, милая, зазорная вещица про стих, что «на холодильнике сидит, дразнится и ножками болтает», заканчивается тоже не слишком радостно.

Но какое описание рождения стихотворения в «Даре Божьем»! Детальное, образное и, на мой взгляд, предельно точное описание того экстатического, надмирного состояния, которое в эти минуты переживает поэт:

*Я помню, помню это...
Всякий раз,
Тягуче – словно тёплый мёд по горлу,
Из тьмы сознания на изнанку глаз
Тёк сладкий свет и облекался в форму.*

*Не в тело, не в фигуру, не в предмет,
А в нечто... совершенное, как вечность.
Был свет, ещё не превращённый в цвет,
Как бледный мрамор, изнутри подсвеченный.*

*Движенье это порождало звук,
Как будто нечто речью стать хотело.
Собою наполняя всё вокруг,
Выплёскиваясь за пределы тела.*

*Оно себя давало изменять,
Как тёплый воск, податливое было.
Казалось, умещал в ладони я
Всё, что рассудком был объять не в силах.*

*И нечто, мной творимое, в ответ
Творилось – то податливо, то властно.
И самобытно обретало цвет,
Нездешний. Но естественно прекрасный...*

Это стихотворение опять-таки заставляет оглянуться на Колычева прежнего, из тех времен, когда поэт «понял тогда, что обречен увидеть мир за гранью восприятия», на знаменитого его «Звона-

ря», перекликается с ним, отталкивается от него, напоминая первую строчку в эпиграфе – «Мне снился гулкий колокольный звон»:

*Мне снилось нечто. Раньше.
А теперь –
Давно не заползали сны под веки.*

*Мне снилось то, что не имело мер,
Пределов и названий в человеке.*

Хорошие стихи, хотя и без должной концовки:

*Но внешний мир бесцветен и убог,
Когда в душе нет внутреннего неба.
Наверное, меня покинул Бог
За то, что слишком долго в церкви не был.*

*...И льются звоны дружеских гитар
На щедрые столы хмельного пира.
Но нет стихов...
Поскольку Божий дар
Не от сего мы обретаем мира.*

«Но внешний мир бесцветен и убог, Когда в душе нет внутреннего неба» – это да, хорошо. Но дальше-то что за ребячьи всхлипывания? Непозволительно, запретно для зрелого поэта, унижительно для Мастера. Последние две строчки – это уж совсем из разряда «спасибо, кэп». «Звонарь»-то все-таки помощнее будет, объемнее – намного. И мужественнее.

Крестьянский Маяковский

Колычев, как мы уже выяснили, – поэт последовательно традиционный. И в этом его сила, в этом – главное, высокое достоинство его поэзии. Мы живем в эпоху, когда сохранить традицию в её первозданной красоте сложнее, чем создать что-то принципиально новое. Придумщиков и экспериментаторов, готовых на всяческие формальные выверты, ныне хоть отбавляй. То, чем они заняты, не вполне поэзия – это своеобразная «поэтическая лаборатория». Находки здесь (иногда весьма интересные) редки, и им еще предстоит стать поэзией. А сделать такое под силу лишь поэтам, подобным Колычеву. Природным, коренным, настоящим.

Однако экспериментов Колычев не чуждался, нет, просто не делал это для себя главным, использовал их как инструмент, обращался к ним, когда того поэзия требовала. Тому свидетельство – одна из пос-

ледних его книг, поэтический альбом «Некрасивое».

Первое ощущение – да это ж не Колычев! Это какой-то крестьянский Маяковский. Николай Владимирович выкинул фортель, который, думается, от него никто не ждал. Использовал тонический, основанный на примерном равенстве ударений в строке стих. По сути дела, заговорил на другом языке...

Такой вот поворот. В какой-то степени он, наверное, был вызван тем, что Колычев устал. И чисто технически, и внутренне, душевно. Устал от того, что в системе традиционного русского стихосложения он может, в сущности, все. Стихов, написанных Колычевым вслед за Кольцовым, Есениным и Рубцовым, в их русле, на их поэтическом языке, наверное, уже тысячи – если считать и те, которые никогда не будут опубликованы.

Он мог в этом формате гнать стихи километрами, и никто бы его не укорил, не упрекнул.

Все так. Но это ведь скучно. Для мастера. Для большого поэта. Неаккуратно называть его лучшим поэтом России (у нашего Отечества поэтов слишком много, чтобы так просто было назвать короля), но то, что он – один из лучших, очевидно было даже его недоброжелателям. И еще одно доказательство тому – «Некрасивое» – последняя книга Николая, где он неожиданно-негаданно дерзким фертом отказался от привычных поэтических схем и целиком ушел в акцентный стих.

В «Некрасивом» мы увидели нового Колычева. И многим, кто был влюблен в прежнего, классического, это не слишком понравилось. Он и сам провидел это в одном из стихотворений:

*Вы меня считаете дураком,
Намеренно стихи свои*

калечащим?

Видимо, вы вовсе не понимаете

русских стихов,

И жизни русской, и русской речи.

Что ж, наверное, такое отношение можно объяснить и понять. Прежний, хрестоматийный Колычев с его «Звоняря зрачком», «Ангелом белым» и «Невмогуту себя перетерпеть» привычнее, мы с ним сжились, полюбили его – таким – традиционным, максимально простым по форме, чуждым стихотворных ухищрений. Но причудливый кульбит, который совершил Николай в «Некрасивом», заслуживает внимания и уважения. Нельзя не принимать его только из-за того, что совсем другой. Он, сдается мне, временами лучше прежнего.

Замечательно, очень точно пишет об этом в предисловии к книге – «Колычево сечение» известный русский поэт Марина Кудимова:

«Читая эту рукопись, я ловила себя на мысли, что если заполярный поэт Николай Колычев (тезка Заболоцкого и Рубцова, но и Некрасова!) ушел от тючевско-есенинско-рубцовской традиции гармонического стиха, которой следовал всю предыдущую жизнь, значит, гармоническая поэзия перестала отвечать на вызовы времени:

*Я потому, надрываясь,
рыгаю стихами разодранными,
Что вокруг все – враздрай!*

Так оно и есть! Именно поэтому – и ни почему другому – поэзия перестала восприниматься большинством людей, а поэты занялись досужей игрой и выгадыванием премий. Попытка Колычева перейти на тонический акцентный стих – не игра. Это серьезно – и куда более серьезно, чем смена формы, чем вечный поиск поэтом наиболее адекватного себе и времени способа выражения. Предшественник Колычева в этом разрыве с классической традицией – Владимир Маяковский, обнаружив пресловутую «улицу безъязыкую», не выдержал в итоге отнюдь не безмолвия улицы, но еще в XIX веке просевших оппозиций: «поэт и толпа», «поэт и власть». Вселение в новую квартиру литейщика Ивана Козырева для «горлана-главаря» явилось откровением, поэт попался в эту ловушку и потерял дар озвучения безъязыких и бесквартирных, а главное – некрасивых. Потерял – и погиб, потому что, выставя себя «заморским страусом», был рожден русским поэтом – страдальцем и молитвенником за сырых и голодных, а не добившихся двусмысленного успеха...»

Да, главная тема – яростное неприятие новой, постсоветской России, ее кумиров и правил, в общем-то, для Колычева традиционна. Социальных стихов он написал немало – с вагон, наверно. Но здесь, в контексте нового (технически) поэтического пространства эта привычная нота зазвучала, соглашусь с Кудимовой, гораздо мощнее, основательнее.

Вспомнилось давнее стихотворение Николая «Нельзя убить поэзию России». Вещь, конечно, программная, правильная, но ведь абсолютная риторика, порой отчетливо не живая, плакатная. Часть нового сборника – на ту же тему, о поэте и поэзии, о выборе художника, о славе и бесславии. Но – принципиально иные:

*Нет настоящего!
Глянешь вокруг –
и видишь, как мелко
и бездарненько,
жизнь оползает в киношные муки
фильма про гибель «Титаника».*

*Родина, где ты? И где все мы?..
Вокруг испосенная
духовная пустынь!
Сойду с ума и пойду засеивать
Россию капустой.*

*Душа моя – мечтаний пленница.
Господи, прости мне
стихи мои тяжкие!
Хочу, чтоб в капусте
кричали младенцы,
для которых мы будем
страшным вчерашним.*

Интересный момент – к вопросу о том, должен ли настоящий мастер трудиться над уже созданным произведением, дорабатывать вполне сложившийся, готовый текст: нашел это стихотворение в интернете, так там строчка про стихи другая: «Господи, прости мне грехи мои тяжкие!» Вот так. Изменено одно слово, а содержание стало совершенно иным. И не только смысл поменялся, но банальность стала поэзией.

Книга состоялась по самому большому счету. И стихи ведь иные – не такие беспросветные, как в той же «Куда ты уйдешь?». Светлых, вполне себе оптимистичных стихов здесь немало – и «Март», и «Кактус», и «Один день для жены», и «Жить и творить, как хочется!», и даже процитированное мной внешне нелегкое «Пойду засеивать Россию капустой».

Интересно, что и в иных не слишком радостных стихах то и дело маячком таким, негасимым «звонящим зрачком» отчетливо мерцает вера в будущее, в завтрашний день, в родную страну. И это – несмотря на все то трудное, страшное, безобразное (некрасивое!), на чем сосредотачивает свое и наше внимание поэт.

Посмертная книга

Последние стихи Колычева – те, что написаны были в конце 2016 – начале 2017 года, совсем рядом со смертью, не успевшие попасть в книги, они, по сути, еще не прочитаны нами (даже в интернете их не так просто найти, в книги-то они не успели, названия им не придумали, на полочку четкую, строго определенную не положили). Прямо как у Пушкина посмертная книга получилась...

И очень жаль, что даже знатокам эти тексты зачастую почти не знакомы. Там есть о чем поговорить – и конкретно по отдельным стихам, и в целом в контексте всего творчества.

Что главное? Тема смерти звучит едва ли не в каждом стихотворении. Очень часто возникает ощущение, что поэт с нами прощается. Показательно, что тема смерти физической, собственно, окончания жизни, тесно сплетена с темой окончания жизни творческой, жизни автора не человека, но – поэта. «Страшно быть поэтом исписанным...» – с горечью отмечает «мучимый словесным неможем» Колычев. Это звучит даже в одном из лучших колычевских стихотворений «последнего призыва» – «Буду молчать», звучит как приговор: «Буду молчать. Я и так слишком много сказал».

Что это – неверие в самого себя? Кокетство? Ведь стихи-то хороши. Ни в коей мере – какие кокетство, неверие? Всё – всерьез, убежденно и искренне. Скорее, усталость. От мира, что «изоврался в большой бесконечной войне», и от себя, прежнего, – то, что заставило его в свое время уйти от есенинско-рубцовской традиции в дольник. И жажда нового Слова – и для себя, и для всех – честного, всемогущего, равным по силе тому, «осиянному», которым когда-то «солнце останавливали» и «города разрушали». Жажда слова и дела:

*В скорби великой народ
молчалив и угрюм,
В скорби видней,
как ликует исчадие зла.
Скорби великие –
место взращения дум.
Пусть вызревают на них
не слова, но дела.
Мир изоврался в большой
бесконечной войне.
Скоро забудется –
кто, почему, на кого...
Хочется правды! Повсюду!
Внутри и вовне!
Ну а иначе все жертвы –
во имя чего?
Так почему –
не под силу уму моему –
Лучшие гибнут,
а зло – даже тронуть нельзя?
Думаю, думаю...
и ничего не пойму.
Буду молчать.
Я и так слишком много сказал.*

Вообще, «Буду молчать» заслуживает отдельного разговора. Это, как видите, риторика. Ее в посмертной книге Колычева немало, едва ли не каждое второе стихотворение в разной степени можно к этой категории отнести (и «Что-то наплывает безбрежное...», и «Как глуп я был...», и «И жить захотел захотеть хотеть...», и «Дар Божий», и «Похороны стихов», и «Нерожденный»). Но это, замечу, уже не топорно-программная риторика вроде «Нельзя убить поэзию России», а явление абсолютно другого толка и уровня. По глубине и высоте лучшие из этих стихотворений, к примеру, все то же процитированное «Буду молчать», сродни риторике пушкинской. Да! «Клеветникам России» – это ведь тоже риторика. Но какая! Живая, чистая, обжигающая, чуждая пошлого пустословья.

...Николая Колычева не стало 6 июня 2017 года: на даче под Кандалакшей, где поэт был один, с ним случился инсульт, спустя несколько дней он скончался в больнице, на 58-м году жизни. Он ушел в Пушкинский день России.

...И снова возникает в памяти эта картинка из недавнего еще прошлого: крохотный безлюдный островок остановки в спальном, не центральном районе Мурманска, а там – Николай Колычев. Коля с сигаретой, закрывает ее от мурманского осеннего ветра – игольчатого, недоброго, стынет в неуют, в ожидании потерявшегося в городской юдоли неведомого какого-то транспорта. Один – на краю города. На краю мира. На краю жизни.

Одиночество – это не страшно. Для поэта оно ес-

тественно, почти норма. Он по природе своей одинок, сам себя от людей отделяет, да и ремесло поэтическое такую способность имеет – выделять из общего ряда, отдалять от толпы, чуть возносить над миром, даже если скромен и тих. Поэзия – искусство высокое, и об этом ведомо всем, даже тем, кто ей чужд асолютно и книг вовсе не читает.

Да и жизнь на краю, в общем, тоже для нас не новость. Помните, как у Мандельштама в «Шуме времени»: «Как поживаете, Иван Иванович?» – «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Это он про символистов, «до нашей эры», фактически. Но сказанное полушутя-полусерьез, современно для любой эпохи. Может показаться, что щедрый на великие потрясения XX век эту ситуацию предсмертную обострил до предела, но это – внешне, всё-таки всего лишь фон. Главное то, что внутри. Поэт всегда живет предсмертно и от того, что вокруг, это, конечно, зависит, но лишь поскольку-постольку.

И смерть поэта – категория особая. Она не бывает случайной, даже когда выглядит как нелепое стечение обстоятельств.

Поэты уходят в свой срок. Тут им никто не указ.



Дмитрий КОРЖОВ –

поэт, прозаик, литературный критик.

Родился в 1971 году в Перми.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Член Союза писателей России.

Стихи и проза публиковались в альманахе «Братина» (Москва),

в журналах «Север», «Московский вестник»,

«Роман-газета. XXI век», «Аврора»,

«Десна» (Брянск), «Странник» (Саранск).

Автор пяти книг стихотворений.

Участник 5-го форума молодых писателей России

в подмосковных Липках.

Живёт и работает в Мурманске.

